

ОГОРОД



НИКОЛАЙ НАНУНИНОВ
Родился в Туле в 2003 году.
Студент Финансового
университета (г. Моснва).

Огород, который представлялся Грише прародителем земли, занимал основательную часть мироздания. Гриша был пятилетним юношей, и потому для него картофельные саванны и яблоневые леса оставались открытыми. Как говорила его бабушка Матрона, он был своим в заземленном мире: цыплята вились вокруг его сандалий, старинная кошка отходила от убежища под кустом роз и показывала котят. В час полдника Гриша бегал к декоративному пруду, глубина которого могла сравниться с глубиной Сулакского каньона или Байкала, и выскивал в нем лягушек, проводя их плавание рукой. Они выпрыгивали под тень жасминового куста, где стыли до вечера, и в это время их оберегали пчелы и муравьи. После, безопасной ночью, лягушки отправлялись к другим декоративным прудам других участков, но для Гриши соседние дома еще много лет останутся далекими краями, схожими с Альпийскими горами или рекой Ганг, о которых рассказывает бабушка. Если ее мир расходился с каждым новым путешествием, то мир Гриши был вполне определен и не нуждался в расширении.

Случалось, во время прохождения испытания малиновым кустом Гриша пробирался мимо лопухов и паутин и за их сплетением не мог увидеть солнечного света или услышать понятных коворых песен. Часть мироздания под малиновым

кустом не обнаруживалась Гришиными словами, и он терялся в значениях и шел не только ручной ошупью, но и словесной. Узкий растительный коридор к ягоде наполнялся лунками взрослых личинок жуков, бревнами и ветками. Гриша боялся, но малиновую ягоду срывал и выбегал на газон, где ему салютовала яблоня, а картофельные саванны, чтобы угодить, сбрасывали колорадских жуков. В момент триумфа Гриша съел ягоду. Ему попался клоп, и после этого Гриша перестал питаться немытой пищей, которую предоставлял огород. Съестные дары Гриша бережно собирал в баночку – к ручке он привязывал жгут и вешал, как сумку, на шею – и относил к бабушке Матроне. Первые года он носил ей малину, крыжовник, чернику, клубнику, но чем более его мыщцы, подобно кукурузным початкам, распирались, тем труднее по добыче пищу он приносил. Он добирался по заборам, лестницам и стремянкам к черешням, вишням и яблокам, и с такой высоты ему открывался неназванный мир. Он собирал красный виноград и, когда касался гроздей, облизывал винный палец и после срезал ножичком ботву. Пятиконечные листья винограда становились птицами, и, пока Гриша усердно, помня клоповый урок, собирал древесные, кустарные и земляные дары, вокруг него случались доисторические животные, а декоративные утки в пруду станови-

лись хранителями океанов. Пес же, обитавший на границе ойкумены, через несколько лет одобрил Гришу как хозяина и впустил его, чтобы тот поливал бархатцы, циннии и ирисы.

Гришино тело не знало усталости утром и вечером: завтракал он домашними яйцами вкрутую, чаем с лимоном или пресной овсяной кашей с абрикосовым джемом, а полдничал молоком и печеньем с маслом. День же в первые годы Гриши никогда не был температурой ниже тридцати градусов и, случалось, до половины сушил пруд. В такое время Гриша обессиливал и ложился на уличные качели. Мягкие подушки отдавали прохладу, набранную в сарае, и Гриша дремал, и для него открывалось пограничье – стеклянные парники, заборы, крыши домов, деревья тянулись к небу и в нем оставались, продолжали за облаками чертить по воле ветра. От дубовых листьев, похожих в движении на ракушки, Гриша научился силе, от зеленых липких шишек – целостности, от кленовых лопастных семян – отдаче, и это обучение, ставшее важнее будущей учебы в школе и университете, осенялось голосами стрижей и синиц. В это время вокруг качелей собирались пес, гуси, коза и другие, и попозже к ним подходила бабушка Матрона с тем, чтобы прервать загородный сон и дать Грише стакана чуть теплого молока.

Одним летом в огородной жизни Гриши произошло событие, сопоставимое с творением мира: родители развернули резиновый бассейн и наполнили его водой. Гриша с утра ожидал часа, в который он будет плескаться, и когда он наступал, то в доме скидывал одежду, хватал надувную косатку и бежал к водоему. В нем скопилась трава, мошки, но в общем вода оставалась чистой. Гриша бросал в нее игрушки и ждал, когда же подойдет бабушка Матрона со стулом, чтобы под ее руководством плескаться. Сидя по пояс в воде, Гриша наблюдал, как дубовые листья, усталые стрижи отражаются в воде, дрожат и становятся иными. Он нырял, и вода затекала в нос, уши, и было бы страшно открыть рот и захлебнуться, но Гриша совершал то, что смерть за ним и не поймет: он открывал глаза и видел сетчатый подводный мир. Он не был похож на установленный огородный, и потому Гриша ощущал себя творцом нового порядка и устройства. Он проводил по скользкому дну рукой, словно возводил крепостную стену, однако его детских легких не хватало на погружение, достаточное для создания мира, и он выныривал. Рядом плавала косатка, сидела

бабушка Матрона и складывала газету, чтобы отбить от головы Гриши слепня, и вдруг он увидел движение огорода: от земли к домовому фонарю прорастало вьючное растение – в корнях оно напоминало сирень, но выше зеленело и распускало белые цветы.

Центром огорода Гриша считал застекленный парник, так как внутри него сходилась год – холодами в парник относили лопаты, грабли, бочки, горшки, весной вскапывали вновь землю и в мокрые ямки, наполненные золой и песком, складывали по семенам огурца или помидора, в течение лета сам Гриша собирал овощи (и в этот час он пятнал соком и царапал ладошки огуречными шипами), и осенью побеги и кусты вырывали и сжигали на погребальном костре. Собирая в миску крупные помидоры, срывая опыленные цветы в земляную мокрую воронку, где обжились муравьи и улитки, Гриша видел: над его головой в стенку парника бились капустницы и махаоны. Случалось, и ему везло, он видел воробьев – они залетали в открытое окошко в половине парника, где прорастала вверх огуречная ботва, и вылетали там, где собирал помидоры Гриша. От их полета дрожали верхние листья и могли упасть к земле плоды. Плодов же год от года давалось так много, что, войдя в парник утром, Гриша заканчивал сбор к вечеру. Он пересчитывал урожай с бабушкой Матроной тазами, и его детский ум не мог осмыслить столь великих числовых значений. Гриша верил, что, самостоятельно собирая урожай, который зимой обернется маринованными банками торжественным столам, он совершает подвиг, хотя и скромный, но действительно прожитый. Сад и огород с самых ранних дней принадлежали Грише, тогда как парник был владением его двоюродного брата Богдана. Почему так они определили владения, Гриша не знал и из почтения к родственнику (и его почтенному возрасту, семнадцати годам) занимался сбором, когда того не было.

Богдан через усилие сажал семена и собирал плоды, но растительный душный парник любил нежно, потому что под его переплетением вьюнков огуречного ствола он совершал свои любовные открытия. Со дня, когда он впервые проснулся от чувства физической любви, парник стал надежным укрытием его подростковых опытов. Богдан умело их проводил: свидание в несколько часов кончалось с распусканьем цветов или восходом луны и так, что его приключения не замечали ни родственники, ни соседи. Богдан прятал среди

огуречных колонн своих любовниц и любовников, прижимаясь спиной к стеклу, и в мгновение его поцелуя рыхлая земля продавливалась под их весом и могла бы стать ложем, а огуречная влага попадала на губы и вязала во рту. Спустя время Богдан утратит парник, как теряется в пути родной город, и подумает, что мог бы стыдиться своей дозволенности, если бы его любви не были простительными лишь потому, что были первыми и не обязывали подростка неконечной верностью и сдержанностью. Вводя в парник одноклассницу или соседского ровесника, Богдан словно бы воссоздавал поступок Адама и Евы. Подлинный же подвиг он с ними не совершал: встречи продолжались раз, два, три, и спустя месяц знакомства они могли бы провести ночь, когда друг друга разбирали, как матрешек, до сердцевины.

Аню он встретил на одном из уличных летних ужинов, когда собирались бесчисленная родня и многочисленные друзья. Аня сидела от Богдана так, что ее лицо терялось в наклонах гостей к тарелкам и в их руках, протянутых к салатам, овощным, мясным и сырным нарезкам, шашлыку, тушеному мясу, маринованным соленьям, к кулебяке, хлебу и блинам, к хрену белому и со свеклой, салу, холодцу, кетчупу и зернистой горчице, компоту из вишни, яблок или винограда, картошке в масле и укропе. Богдан не позволял долго клониться к тарелке, ведь Аня, как он за новыми застольями узнает, признана меньшими детьми руководительницей, и, когда кто-то из патриархальных стариков будет говорить тост, эти дети могут Аню повести за руки в свою игру. Аня выходила из-за стола, и дети укрывали ее в лабиринте можжевельников и елок, вход же к нему оброс по дуге розовым кустом. И был вечер; Богдан выбегал от стола, стоявшего на плитке и бетоне, и оказывался в вечернем, тепловатом лабиринте, и совсем далеко он слышал детей и Аню. Каждый раз он добирался до нее и видел, как она в синих джинсах сидит на песочном возвышении, а вокруг ее ног суетятся дети – они сражались на палках, перебежали дорогу на красный свет или устраивали схватку Дарта Вейдера и Эльзы, и над ними пролетали стрижи и прокалывались первые звезды. Многое время Богдан совмещал любовные опыты, с новым партнером все более чувственные и чужие, и наблюдение за Аней, пока однажды ночь не заняла время дня, а старшие родственники и друзья до прощания с луной продолжили петь песни, по которым постаревший Богдан вдруг окажется в ночах августа; в такое время

Богдан предложил Ане выйти из лабиринта елок и можжевельников. «Я хочу постараться тебя удивить», – добавил он, когда ногами в резиновых калошах они ступили на видимую землю. Чтобы не нарушать бережный уклад владений, Богдан вел Аню к деревянной лакированной беседке с желтой лампочкой, и, пока они пробирались по досочным переулкам сквозь засаженный огород, чтобы не переломить луковые отростки или опахала кабачков, Богдан сорвал ей веточку сирени, сожмуренную и без цветов удачи.

В беседке стояли полные бутылки домашнего вина; Богдан вспомнил, что в парнике назревают помидоры и, кажется, вытянулись огурцы. Он побежал за ними по темноте, распугивая шагами кузнечиков и светлячков, и в футболке принес парниковые дары. Так и прошла их первая ночь, в которую Богдан и Аня, допивая вино и заедая его огурцом, говорили содержательные слова. В другие ночные встречи свидетелем их клятвам стали пес с края ойкумены и сиреневая ветвь. Поздним вечером или утром Богдан переставал водить в парник любовниц и любовников, хотя ему и не хватало жаркого тела и плотных касаний, а без Ани он томился внутри, однако со временем, когда он начал проживать ее вместо себя, томление, тоска утратили страшность и омельчались. Богдан стал окутан такой верностью, на которую есть способность в молодости, и так, как недавно вплетался в огуречную ботву и пальцами ног рылся во влажную землю.

Аня приезжала в огород независимо от родни и друзей. Богдан слушал, как она рассказывала про свои маршруты, но названия улиц, районов не вызывали в памяти образов, хотя он и был жителем города. Приезжала Аня в то время, когда коровьи песни затихали, из прудов выходили те, кто купался, и звучала из леек вода. С Аней Богдан завершал дела дня: вне дома они развешивали мокрые простыни, пододеяльники и наволочки на сушильные нитки, часть из которых на следующий год обросла виноградом, выносили из сарая подушки, плетеные кресла к стеклянному столу. Богдан усаживал Аню удобнее и уходил в дом, откуда выносил несложные блюда – часто это были выжатые соки яблока или апельсина с мякотью, но если Аня обещала пробыть на огороде до утра, то Богдан поднимал шкафы муки, выносил теплые куриные яйца из птичника, из тазов, накрытых газетами, собирал ягоды и создавал пироги. Он выносил несколько треугольных кусочков, теплых, покрытых ломтиком сливочного масла, ставил

С Аней Богдан завершал дела дня: вне дома они развешивали мокрые простыни, пододеяльники и наволочки на сушильные нитки, часть из которых на следующий год обросла виноградом, выносили из сарая подушки, плетеные кресла к стеклянному столу. Богдан усаживал Аню удобнее и уходил в дом, откуда выносил несложные блюда – часто это были выжатые соки яблока или апельсина с мякотью, но если Аня обещала пробыть на огороде до утра, то Богдан поднимал шкафы муки, выносил теплые куриные яйца из птичника, из тазов, накрытых газетами, собирал ягоды и создавал пироги.

на стол и ждал, что скажет Аня: она внимательно жевала пирог и вместе с тем отгоняла от него бабочек или майских жуков. В пироге был весь он, и если блюдо удавалось, то Богдан ночью не знал страха и говорил Ане клятвы с тоном, будто между ними дорогое знакомство продолжается не пару месяцев, а большую жизнь. По небу расходились персеиды, и, чтобы не терять их, он выносил из дома свечи и покрывало-плед, которым Аня укрывала ноги или плечи.

Когда же звезды кончались, Богдан говорил Ане о неразумной любви к ней и уверял, что пройдет немного лет и они прилепятся друг ко другу общей фамилией. Будущее царство они устанавливали тем, что бережно меняли огород своим присутствием: парник, так долго чуждый Богдану обязанностью копать, сеять и собирать, стал началом их времен, в нем перестали складываться бочки, грабли и лопаты и каждый сорт помидоров и огурцов объединился ниткой необходимого цвета. Далее они обложили мраморной плиткой фундамент парника, тонкую бетонную прослойку, и привнесли черноземной земли, наполнив ее удобрениями и червями.

Одним днем Аня приехала и к вечеру заболела. В начале ей тяжелее стало переносить лейки с водой, выкапывать картофель и чеснок, забираться по стремянке к отдаленным яблокам, и к вечеру ее дыхание сжалось, голос затих в кашле и поднялась температура. У Ани разгорячился лоб, и с него сходила холодная влага. Богдан привел ее в дом, когда она с усилием удержала таз яблок и тем спугнула голубей: уложил на подушках и мягком матрасе, организовал около кровати столик так, чтобы на нем стояла бутылка воды, лекарства, блокнот и ручка, телефон и Аня могла их взять не вставая. Богдан открыл в ее комнате окно, ведь оно выходило к восходу солнца и Аня его очень ждала. Приезжий врач сказал, что у Ани старинное заболевание легких, похожее на пневмонию, но вылечить его можно и без стационара. Говоря о нужных лекарствах, питье воды, рационе, врач не представлял, как Богдан боялся пропустить его слова. Когда врач ушел, Богдан стал хранителем Ани: они мало переговаривались, и в это чумное время он научился понимать ее вопреки словесной тяжести и неточности, в нужное расписание наливая ей стакан и протягивая упаковку таблеток. Чтобы не оставлять Аню одну в сражении, он постелил в той же комнате надувной матрас, но ночами он так же, как Аня, не спал и вслушивался в ровность ее дыхания, которое он слышал как свое. В Богдане проросла тревога за проживание, и в ней он видел серьезность своих намерений: он советовал Ане ложиться спать раньше, чтобы утром проснуться и увидеть рассвет. Он пробуждал Аню, приподнимал ее шею, и она видела, как солнечный свет зеленел небо и перебирался по листовым ветвям, и если Богдан ощущал напряжение Аниных мышц, то позволял недолго порадоваться, что выздоровление близко. Оно случилось после ча-

сов, в которые Богдан вышел из комнаты на огород и проплакался, потому что, раз прожив Аню вместо себя, он разучился жить другим порядком; плач вышел тихим и бесслезным, словно листва пожухла и опала, грядки опустели и притоптали, пруды высохли, а парник разобрали на металлолом и на его месте высадили ровные елки. Когда он вернулся в дом со светом, ему открылось: Аня заправила кровать, собрала лекарства в коробку и попросила сдуть матрас, так как днем и следующим днем им следует доделать начатые перемены в огороде.

Богдан тем утром и не знал, что пройдет около года чудесного времени и Аня сама уподобится огороду, так же своим телом создав дар.

Обретя себя как отца, Богдан не предполагал, что войдет в круг людей, которые поют с гитарой долгие песни за столом и не спешат разойтись по комнатам и после помытой посуды и убранного участка; и центром подобного мира был его дядя Михаил. Время он измерял не возрастными годами, а событиями своих детей: становление их как родителей, получение водительских прав, университет и экзамены, синяки от драк и школа, строительство песочных замков и рождение – Михаил долго сопровождался детьми до того, пока они не основали свои огороды в иных городах; и потому Михаил жил без старости: выходя из дома и спускаясь босиком по нагретым ступеням, он видел, что его дети бегают по саду и огороду с корзинками, банками, лейками, тележками земли и песка к его родителям, приложенным к грядкам и рабаткам. После такого труда он собирал детей на пруд, и так, чтобы свои плавки, купальники и полотенца они собрали и отнесли в багажник машины самостоятельно; и, когда из-под стекла изгонялись осы и слепни, а Юля, его жена, выметала тряпкой сухие репы и ромашковые цветы, они выезжали с участка к пруду. Там Михаил заново находил место, не обнаруженное другими людьми, где от солнца укрывали ивы и березы, трава не стоптана в землю и переход в воду облагорожен песком. Он и Юля расстилали ковры и пляжные полотенца, мазали кремом руки и спины детям и следили за их водной игрой. Михаил надевал солнцезащитные очки и пробовал смотреть на Юлю, но с новыми приездами на пруд она садилась ближе к границе пруда, чтобы самой поучаствовать в игре с детьми. Когда солнце укрывалось за холмом, на котором стоял зеленый храм, Юля собирала полотенца и на предложения помощи не отзывалась. В дом они приезжали и для

гостей, соседей или друзей улыбались и выглядели едиными, но ночью в доме находились дополнительные комнаты, чтобы спали они раздельно.

Время для Михаила началось, когда завершилось: засыпание прерывалось соловьиными и совиными воями, и, чтобы занять себя, Михаил выходил на балкон, с которого ему виднелись многие-многие сады и участки, дома знакомых и родственников. Он вглядывался сквозь ветки облепихи и рябины в те окна, где до восхода горел свет: за столами, в кроватях он разглядывал людей разных возрастов, руками они притягивались к другу другу несложными касаниями – минувшее сложилось в крошечную коробочку, и Михаил взял обиду на себя, что столько проживал себя и так пусто... Признание за собой единичности изменило огородный быт, ибо месяцами над домом и участком шевелились сине-черные тучи и проливали воду; проливали так, что лягушачий пруд переполнялся и топил корни жасмина и бархатцев, плодились комары, всегда плотная и поросшая лишайником земля под корнями яблонь, вишен и черешен треснула и размылась. Дождь прекращался на день-другой, и родня и друзья замазывали воском порезанную кору, отыскивали свежей земли и песка, вставляли толстые стекла в парниковые рамы; однако разрушенными оставались качели с прокисшими подушками, плиточные дорожки, мята и ромашки в длинных горшках и тандыр – с новым ливнем непочиненное смывало с огорода, а то, что уберегли, снова разрушалось. Случалось, и громоотвод на крыше не управлял молнией, и она валила клен или дуб; от их падения уродовался забор, газон, а циннии, ирисы и тюльпаны мялись или вырывались из земли. Юля уговорила Михаила вызвать несколько раз пожарных, но от воды их машины буксовали задолго до огорода, и тогда огонь тушили вместе с соседями песком и землей; огородный край разрушался, и в дни потерь животных, бьющегося парникового стекла и разодранных плодов к Михаилу отнеслись с новым доверием и уважением – из родственника и знакомого, сидящего на углу праздничного стола, он изменился в руководителя, после чего он самостоятельно искал глину, бетон и доски для восстановления забора, новые стекла, мраморную плитку для укрепления клумб, переделывал птичник и будку. Юля вернулась к нему, хотя их разговоры кончались на планах ремонта и покупок, и Михаил продолжал трудиться с верой, что он преодолет потоп и разрушения, восстановит дом и сосредоточит новое мироустройство на

себе. Такое знание помогало ему не спать многие дни, которые он заполнял обсуждением с соседями новых дорог и освещения или перекладыванием плитки, однако его сил не хватало, чтобы осушить подвал, восстановить котлы отопления и электропроводку, снять сырые обои и наклеить свежие; и, пока он трудился на огороде и в саду, по стенам дома расходились, как корни, трещины, падала, как вода, штукатурка и, как кожа, отклеивались обои. Юля требовала охраны дома, но в таком случае Михаил не следил за садом и огородом, где снова появлялись лужи и ручьи.

Дождь кончился, когда Михаил выяснил причину разлада с Юлей. Узнал он ее ночью, вернувшись с огорода и отправив животных, укрытых в гостинной и дополнительных ваннах, по клеткам и коврам. Собирая в комнате лягушек, он услышал, как Юля говорит с человеком; он прошел в их спальню и увидел, как она вплетается в ветвистое объятие знакомого силуэта, имя которого Михаил вспомнил по необычному орнаменту родинок на спине. Утром тучи разошлись, открылось солнце и иссушило землю так, что в трещины дома попала пыль, а деревья почти не могли созреть плодов, потому что пыльный ветер испарил влагу в земле. Михаил думал о Юле и хотел бы поговорить о ней, но она уехала, когда он спал, и после ее отъезда за несколько дней в доме, в саду, в парнике и на огороде прекратились люди – соседи вернулись на свои участки, обновили заборы на более крепкие и высокие, друзья отправились в свои края, а родственники, за дни потопа повзрослевшие или постаревшие, вышли на поиски другой благодатной земли, хотя друг друга провожали со слезами и взаимными обещаниями встречаться и возвращаться в чудесный дом; но звучали слова устало, и за час, когда из леса взлетали совы, по листве карабкались июньские жуки и проходила от пруда серебристая дымка, в которой Михаилу мерещился сад с соловьями, дятлами и домашними голубями, – отъезжали к Воронежу, Риге, Енисею, Македонии, берегам Янцзы, но сумерки подступали скоро, и нечему было подсвечивать дымку. Последним отъезжал сам Михаил: он пообещал нескольким родственникам, что будет приезжать по выходным, чтобы пообщаться с Евой, младшей дочерью, но внимательно выслушал его один Афанасий Алексеевич, Юлин отец.

Ева звала его дедушка Сено. Не потому, что от времени его волосы побелели и на морщинистом лице выглядели как сложенная сухая трава, но потому, что сено было способом проживания

для Афанасия Алексеевича. После потопа огород не давал щедрых урожаев, как несколько месяцев назад, и в лучшем случае Афанасий Алексеевич мог выкопать несколько картофелин с ладошку Евы и сорвать кислый крыжовник, а трава, пригодная для кормления козы и поросят, занимала все большие площади участка. Огород стал шире без яблонь, вишен, черешен, облепихи и рябин, и Афанасий Алексеевич вместе с Евой (в синей шляпке-зонтике, чтобы не перегреться) выходил на заре с граблями и продленными рядами стягивал в кучки желтую траву; Ева слушала, как она колосится и перезванивается, а дедушка Сено выдыхает и подолгу, оперевшись о ручку грабель, отдыхает от сбора и рассматривает далекие границы травяного огорода. До жары он с Евой успевал на тачках перетащить сено в тень бывшего птичника, чтобы по темноте накормить поросят и козу, и после они возвращались в дом. Там Афанасий Алексеевич отводил Еву в комнату на втором этаже, полную папоротников, кактусов и других комнатных растений, укладывал на раскладной диван, накрывал пододеяльником без одеяла и, пока она засыпала, рассказывал ей, как многое время назад, весной ли, в начале или в конце лета, ее многоюродный брат Богдан облагородил парник, на месте которого она наблюдает крошки фундамента. Афанасий Алексеевич поглаживал Еву по голове; конечно, замечал ее сон, но продолжал говорить о путешествиях к Гангу; иногда он взывал к тем временам, когда он и его жена не постарели и только пришли в неназванные земли, на которых и стоят участки и соседские дома, – они придумали названия улиц и нумерацию зданий, провели от города автобусные маршруты и сохранили яблочные кривые сады, оставленные прошлой цивилизацией. Афанасий Алексеевич выходил из комнаты Евы и обходил других оставленных родственников, но они прожили в доме до нескольких недель и в назначенный час, после вечерней кормежки животных, собрали свои вещи, которые лежали в полочках, ящиках, шкафах и коробках из-под печенья, с тем, чтобы их вечером нашли и увезли, попрощались с дедушкой Сено и Евой и отправились к автобусной остановке. По выходным к ним приезжал Михаил, как и обещал, и другие знакомые, но Афанасий Алексеевич и Ева проводили свое хозяйство без их участия.

Однажды Ева обнаружила под песком глубокую пластиковую емкость, и тогда дедушка Сено объяснил, что раньше это был декоративный пруд под жасминовым кустом. Восстановить его Ева не

смогла, потому что твердая земля не принимала семена растений, а вода не успевала выливаться в емкость, так как по шланговому пути испарялась; но после такой пробы она выросла как девушка и ожидала дня, в который оставит огород. В те же несколько недель, что Ева раскрылась, Афанасий Алексеевич постепенно прекратил собирать сено и кормил козу и свиней запасами комбикорма; делал он это до первого солнца, потому что с возрастом его кожа болезненно отзывалась на природный свет и домашние средства, даже сметана, которую Ева размазывала по рукам дедушки Сено, не лечили. Он много ел овсяной каши и заедал ее молоком и компотом, однако эта пища, вмещавшая в себе великую преданность Евы, не давала необходимых сил, и он время проводил за сном, тогда как Ева принялась изменять огород – на несколько дней зацветали розы, прилетали птицы, появлялись муравейники и улитки, по заборам пробегали кошки, а виноградные лозы пускали бутоны, но обилие прекращалось, потому что одна Ева не могла поддерживать его. Как и дедушка Сено, она надевала особую одежду от солнца и выходила в край, когда-то полный даров, чтобы сгрести скорорастущую траву и накормить козу. Огород становился душным морем: в ботинки Еве попадали камушки и песок, руки царапали зеленые окончания травы, лицо сырело и высыхало, и уборка огорода прекращалась вместе с полноправным днем. Ева переодевалась и обходила те места, где устанавливала живой порядок, хотя подобных мест и было немного: менее чем за час она поливала горшок с анютиными глазками, шпатлевала трещины в стенах и готовила дедушке Сено ужин. Ночью она открывала окна на кухне, обставленной дорогой дубовой мебелью, под руку приводила Афанасия Алексеевича, и тот без спешки ел. Волос головы и бровей у него не осталось, и Еве он напоминал младенца. Афанасий Алексеевич пробовал говорить с Евой, но слабые мышцы рта трудно выговаривали и трехсложные слова, и потому они придумали пользоваться записками – Афанасий Алексеевич писал их с конкретными просьбами (принести воды, собрать сено), но чаще он писал почерком первоклассника долгие послания, в которых рассказывал о своем времени, и Ева читала эти истории вслух за ужином и переживала то, что было пережито многими людьми до нее. Одну из последних фраз, произнесенных дедушкой Сено, Ева запомнила во время ужина: «Подобные истории не для конкретных дат и имен, но для твоей несокрытости». После

Афанасий Алексеевич перестал общаться и записками, а сон и бодрствование проводил в большой спальне, где на минимальном звуке он включал телевизор. Ева кормила его с ложки; она могла бы рассказывать одну и ту же огородную историю изо дня в день, но в каждой искала то, что порадует дедушку Сено или вызовет у него интерес, и поначалу так и происходило, но чем ближе наступала осень, тем медлительнее и слабее он отзывался на слова Евы. Афанасий Алексеевич жалел, что Ева сидела с ним немного и уходила, думая, что ему нужен отдых, хотя было наоборот, потому что внутри, вопреки тягучему телу, он оставался подвижен тогда, когда имя Евы почти забылось, а ее лицо вызывало будто вложенные образы и воспоминания. Афанасий Алексеевич не заметил, как он перестал видеть девушку, которая в четкие промежутки приходит и кормит его. Ее место заняла темнота, и дедушка Сено так и не узнает, что Ева высадит новый огород на другой земле.

